

А.М. Ремизов

## Сны Пушкина

### I.

Редкое произведение русской литературы обходится без сна. И это говорит за кругозор и память. В снах не только сегодняшнее — обрывки дневных впечатлений, недосказанное и недодуманное; в снах и вчерашнее — засевшие неизгладимо события жизни и самое важное: кровь, уводящая в пражизнь; но в снах и завтрашнее — что в непрерывном безначальном потоке жизни отмечается, как будущее, и что открыто через чутье зверям, а человеку предчувствием; в снах дается и познание и сознание и провидение; жизнь, изображаемая со снами, разворачивается в века и до веку. Сон в русской литературе — с библейских видений пророка Аввакума, описанных в последнем *Послании к царю Алексею Михайловичу*, и «мутного» сна Святослава в *Слове о полку Игореве*. Загоскин в *Юрии Милославском* вводит сон, как литературный прием, но сон Юрия, как потом сон Обломова у Гончарова, вне реальности сновидений: такое может и во сне присниться, но может и наяву представиться. Сны, как особая действительность («существование») по-своему закономерная, со своей последовательностью, но вне дневной бодрственной логичности, впервые появляются у Пушкина: «морозная тьма» Пушкина. И эта «тьма» завезет жутью Толстого и Достоевского, а через них заворочит поколения за границы русской земли до океана и за океан. Поэзия стихов Пушкина, как поэзия прозы Гоголя, звучат лишь по-русски, не передаваема; из переводов можно только догадываться и только чувствовать, но для русской литературы своим звучанием она озаряет. Имя Пушкина, как имя Гоголя, не может стать мировым подобно Данте, Шекспиру и Гете, но через свое озарение русского — через Толстого и Достоевского — безмянно входит в мировое — в путь блистающего свода человеческого слова. Со светом поэзии от Пушкина идет и «морозная тьма» его снов — злоеущее; ужас, угрызения, горечь, которые вскипят горчайшей тоской у Лермонтова, докатятся грустью до Некрасова и пронизуют тревогой стих Блока, а в прозе отзовутся, как бунт и мятеж у Толстого и Достоевского. Символисты, как Брюсов, а затем Кузмин, провозгласившие Пушкина литературным вождем, напомнили в годы общепризнанного литературного «как попало» и самодельщины о занимательных конструкциях Пушкинских рассказов, в этом значение их «пушкинизма»; их собственные примеры в форме стилизации бесследны в русской прозе, и это, как у Андрея Белого Гоголь, сведенный им в его собственной словесности к перезвучанию гоголевского поэтического слова, но указание Андрея Белого на Гоголя, как на поэта в прозе, сгладившего грань между «стихом» и «прозой», имеет огромное значение; и разве не ясно, что для поэзии — всё формы и нет особых форм. А от стихотворной риторики Маяковского, однажды в футуристическом манифесте «сбросившего Пушкина, Толстого и Достоевского с корабля современности», если что и сохранится, то лишь его площадные плакаты, овеянные злоеущим Балдой Пушкина. Сны, как вторая, всегда трепетная и не «безответная» реальность, с Пушкина займут необходимое место у Гоголя и Лермонтова, Толстого и Достоевского, Тургенева и Лескова. Мартын Задека, сонник которого держал в руках Пушкин, и до недавних пор, я помню из моего детства, ходовая на Москве книга, должен гордиться своими учениками, рассказавшими о таких «бурях и ежах», — ему, Задеке, в звездном колпаке волшебника, и в голову не приходило.

### II.

Шесть снов Пушкина: сон Татьяны, сон Григория, сон Марьи Гавриловны, сон гробовщика Адриана Прохорова, сон Германна, сон Гринева. И каждому из этих снов будет отклик.

Сон Татьяны *Евгения Онегина* представляется, как семь зеркальных отражений: 1) Снеговая поляна и кипучий поток; 2) Взъерошенный медведь; 3) Погоня в лесу и в медвежьих лапах; 4) На пороге ведовского шалаша, подглядывание в шелку: чудовища и среди них Онегин; 5) Приотворяет дверь, дуновение ветра, все встали, Онегин оттолкнул дверь, появление Татьяны среди чудовищ: «копыта, хоботы кривые, хвосты хохлатые, клыки, усы, кровавы языки, рога и пальцы костяные: мое!»; 6) «Мое» — Онегина: в углу на шаткой скамейке и над нею Онегин «клонит голову свою к ней на плечо», появление Ленского и Ольги — «свет блеснул», Онегин хватает длинный нож — Ленский повержен (зарезан); 7) «Страшно тени сгустились, нестерпимый крик раздался, хижина шатнулась». Конец сна. Этот семигранный зеркальный сон, под подушкой у Татьяны зеркальце, откликнется в семипоясном сне пана Данилы *Страшной мести* Гоголя: пан Данило уводит через окно свое глубочайшее единственное видение: душу Катерины, которую соблазняет отец, и которая видит свою зарезанную отцом мать, по тому же зрению, как Лермонтов, увидя себя убитым в долине Дагестана, видит, как где-то в Петербурге «одна из жен, увенчанных цветами», видит его лежащего в долине Дагестана: «и кровь лилась хладеющей струей». И в *Войне и мире* у Толстого вспомнится Татьянино зеркальце: Соня, гадающая на зеркале, ничего не видит и «вдруг отстранила то зеркало, которое она держала и закрыла глаза рукой. Она сама не знала, как и вследствие чего у нее вырвался крик, когда она закрыла глаза рукой. И она невольно сказала: “видела его” — “вдруг вижу, что он лежит... веселое лицо и он обернулся ко мне...”. И в ту минуту, как она говорила, ей самой казалось, что она видела то, что говорила. «Тут я не рассмотрела, что-то синее и красное...» И эта зеркальная выдумка Сони оказалась зловещей. Наитие, это «невольно», выдумка — одной откровенной природы со сновидением: судьба князя Андрея и судьба Ленского — сочинение Сони и сон Татьяны. А чудовища в шалаше у медвежьего кума: рогатый с собачьей мордой, петушья голова, бородастая ведьма, человеческий остов, хвостатый карла, полужуравль-полукот, рак на пауке, череп на гусиной шее, ветряная пляшущая мельница — отзовутся в *Пропавшей грамоте* Гоголя во сне деда, когда он попал чуть ли не в самое пекло, где рожи на роже не видно, где ведьм такая гибель, как случается иногда на Рождество выпадает снегу, где черти с собачьими мордами, на немецких ножках, где «музыканты тузили себя в щеки кулаками, словно в бубны, и свистали носами, как в вальторны» (Пушкинское: «лай, хохот, пенье, свист и хлоп, людская молвь и конский топ»), где, завидя деда, «свиные, собачьи, козлиные, дрофиные, лошадиные рыла — все повытягивались и вот так и лезут целоваться», ржа, лая и хрюкая.

«Бесовское мечтание» Григория в *Борисе Годунове* с двумя сонными пробуждениями или сон в два погружения — «и три раза мне снился тот же сон»: по крутой лестнице взбирается на башню, с башни — Москва, что муравейник, на площади народ указывает на него со смехом — «и стыдно мне и страшно становилось и, падая стремглав, я пробуждался». Этот сон изображается с перевернутым рисунком: подъем — падение — подъем. Такое же «мечтание» будет в *Портрете* Гоголя: те же пробуждения во сне — двухступенное углубление Чарткова, когда он «лег в постель, а между тем глаза его невольно глядели сквозь шелку ширм на закутанный простынею портрет; сияние месяца усиливало белизну простыни, и ему казалось, что страшные глаза стали даже просвечивать сквозь холстину».

Сон Марьи Гавриловны из *Метели* — те же «мечтания» с падением стремглав и открывающейся со дна судьбой, как у Григория, предрассветные после хлопотливой бессонной ночи в день рокового решения. «Перед самым рассветом она задремала; но и тут ужасные мечтания поминутно ее пробуждали. То казалось ей, что в самую минуту, когда она садилась в сани, чтобы ехать венчаться, отец ее останавливал ее, с мучительной быстротой тащил ее по снегу и бросал в темное, бездонное подземелье... и она летела стремглав с неизъяснимым замиранием сердца... То видела она Владимира, лежащего на траве, бледного, окровавленного. Он, умирая, молил ее пронзительным голосом

поспешить с ним обвенчаться». Видела она это окровавленное и пронзительное, очутившись на дне «бездонного подземелья», куда сбросил ее отец. Этот четырехглубный звучащий — с пронзительным голосом — вещий сон найдет отклик в «несвязном» сне Ивана Федоровича Шпоньки в *Иване Федоровиче Шпоньке и его тетушке* Гоголя, с теми же пробуждениями, углубляющими до видения судьбы: сон Ивана Федоровича четырехстворный, звуковой, с превращениями-подменой, вызванный роковым решением — Иван Федорович по настоянию тетушки должен жениться. Крик Ивана Федоровича, как пронзительный крик Владимира, — голос обреченности и по «морозной тьме» сравним с «нестерпимым» криком Татьяны — криком крови.

Сон гробовщика Адриана Прохорова — сон наркотический пропадной: у Прохорова от выпитого у немца сапожника на серебряной свадьбе («пьян и сердит»), у лейтенанта Ергунова в *Истории лейтенанта Ергунова* у Тургенева от какого-то одуряющего курева и примеси к кофею, под музыку, песню и танец Колибри. Начало такого пьяного сна — всегда исполнение желания: наконец-то купчиха Трюхина скончалась, привез известие нарочный от ее приказчика; затем суетня — «хмель бродит» — Прохоров у покойницы, хлопоты о похоронных принадлежностях, весь день в разъезде с Разгуляя на Никитскую и обратно. Наконец, угомонился, отпустил извозчика и пешком домой. А дома — гости: комната полна была мертвецами — «луна сквозь окна освещала их желтые и синие лица, ввалившиеся рты, мутные полузакрытые глаза и высунувшиеся носы», все это были его клиенты, приглашенные им попить в отместку сапожнику, булочнику, переплетчику, которые заделали его: «пей за здоровье своих мертвецов». И опять все кажется в порядке и ничего неожиданного. Но такие сны так просто не кончаются: отставной сержант гвардии Петр Петрович Курилкин, которому гробовщик продал первый свой гроб и не без обмана: сосновый за дубовый, — напомним о себе, простер ему костяные объятия. Гробовщика это задело («кураж»), он оттолкнул Курилкина, а тот несчастный не выдержал, упал и рассыпался. И вот конец: мертвецы, заступаясь за Курилкина, набросились на гробовщика — «оглушенный их криком и почти задавленный, сам упал он на кости отставного сержанта и лишился чувств». А у Тургенева Ергунов должен влезть в подозрительную трубу, «и труба та все уже, уже, вот и двинуться нельзя... ни вперед, ни назад, и дышать невозможно, и что-то обрушилось на спину... и земля в рот...»

Сон Германна *Пиковой Дамы* — сон Раскольников *Преступления и наказания* Достоевского: «ты — убийца». Германн проснулся ночью, а значит, погрузился в более глубокий сон, луна озаряла его комнату, он сел на кровать и думал о старухе: видел, как ее раздевали после бала, видел ее, как сидела она, освещенная лампадой, вся желтая, шевеля отвислыми губами, качаясь направо и налево, видел, как это мертвое лицо изменилось неизъяснимо, когда она увидела его, видел ее, как она закивала головою и подняла руку, как бы заслоняясь от выстрела, потом покатила навзничь... видел ее в церкви в гробу и видел, когда он наклонился, прости, и ему показалось, что она насмешливо взглянула на него, прищуривая одним глазом... (В *Виш* у Гоголя вспомнится: «философу казалось, как будто она глядит на него закрытыми глазами; ему даже показалось, как будто из-под ресницы правого глаза ее покатила слеза, и когда она остановилась на щеке, то он различил ясно, что это была капля крови»). В это время кто-то с улицы взглянул к нему в окошко и тотчас отошел. Через минуту он услышал, что отпирали дверь в передней и услышал незнакомую походку: кто-то ходил, тихо шаркая туфлями. Явление старухи: «тройка, семерка и туз». И она пошла к дверям и скрылась, шаркая туфлями. Он слышал, как хлопнула дверь в сенях. И увидел, что кто-то опять поглядел к нему в окошко. Значит, не только «кровавые мальчики в глазах», а и этот лунный следящий глаз: «ты — убийца». «Сумерки сгущались, полная луна светила ярче и ярче» — это на Раскольника, она заставит его, вымучивая, и не раз повторить убийство: «из всей силы начал он бить старуху по голове, но с каждым ударом топора смех и шопот из спальни раздавались все сильнее и слышнее, а старушонка так вся и колыхалась от хохота».

---

Сон Гринева *Капитанской дочери* — сон с подменной-превращением: «комната слабо освещена; у постели стоят с печальными лицами; я тихонько подхожу к постели; матушка приподнимает полог и говорит: “Петр Андреевич, Петруша приехал; он воротился, узнав о твоей болезни; благослови его!”. Я стал на колени и устремил глаза мои на больного. Что ж? Вместо отца моего, вижу, в постели лежит мужик с черной бородой, весело на меня поглядывая». Это найдет отклик у Толстого в его приемах описания сна, особенно ярко — в *Двух стариках*, да и в *Анне Карениной* для Облонского в его сне — маленькие графинчики оказываются и женщины. Сон Гринева — вещей: «мужик вскочил с постели, выхватил топор из-за спины и стал махать во все стороны; комната наполнилась мертвыми телами; я спотыкался о тела, и скользил в кровавых лужах. Страшный мужик ласково меня кликал». Так оно все и будет, а страшный мужик — Пугачев. И про это вспомнится в *Анне Карениной* в ее зловещем сне: все так и будет, как однажды приснилось, и сон — ее беспощадная судьба раздавит ее колесом.

### III.

«Морозная тьма» снов — «налившееся сердце ядом» и свет поэзии — дуновение тонкого вея и воли. И в этом правда жизни? И для человеческого гения, человека в существе нечеловеческом, и свет и яд неразличимы по-человечески; другими словами судит он дело своей жизни и на вопрос «зачем», ответит: «так» — так, как все совершается в мире от рождения до встреч, и до смерти. Голос, поднятый в русской литературе гением Пушкина — голос самой жизни с ее многоцветной тайной, переливающейся то горечью, то светом.